

Грязный снег

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ

18+

Евгений Павлов

Грязный снег

<https://litres.ru/74235224>

SelfPub; 2026

Аннотация

После шторма рыбак Игорь находит на берегу мертвого белька — детеныша серого тюленя. Для него тюлени всегда были лишь ворами, отбирающими у людей рыбу. Но малыш не утонул. Он умер в мучительных судорогах.

Молодой биолог объясняет страшную правду: из-за аномального потепления море «зацвело» ядовитыми водорослями. Токсин накопился в рыбе, а затем — в молоке матери-тюленя. Игорь всегда считал океан своей бездонной мастерской. Теперь природа преподает ему жестокий урок: тюлень не был его врагом. Он был индикатором. Верхний хищник просто умер первым.

Игорь смотрит на свой улов и тихое, ненормально теплое море. Он понимает, что сам попал в невидимую снасть. То, что убило белька, уже отравляет его собственную жизнь.

Содержание

Неправильное море	4
Грязный снег	8
Хлорка против тины	14
Смерть на металлическом столе	22
К	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Евгений Павлов

Грязный снег

Неправильное море

Шторм ушёл в Финляндию вчера к вечеру, оставив после себя не холод, как положено в конце ноября, а тягучую, противную сырость. Ветер дул с юга — тёплый, пахнувший не солёной свежестью, а чем-то сладковатым, бродящим. Как будто где-то за горизонтом перебродил и протух огромный чан с вареньем.

Игорь Чернышёв выгребал к отмели на вёслах. Мотор сорвало клапаном ещё вчера, когда он пытался уйти от шторма. Теперь гребла спина, а не «Ямаха». Руки, привычные к верёвкам и рыбе, легли на вёсла неправильно — он два месяца не брал их в руки, с весны сидел за рулём. Кожа на ладонях была жёсткой, тёмной, с сеткой шрамов от крючков и тросов, но сейчас она горела, не привыкнув к дереву.

Сети он ставил три дня назад, до того как нагрянула непогода. Три ставки — на треску, на салаку, на навагу. Если шторм не снёс их с якорей, должен был быть нормальный улов. Нормальный — это значит килограммов сорок-пятьдесят. Хватит на соляру, на хлеб, на банку тушёнки, и ещё

останется отложить в жестяную банку из-под кофе, которая пряталась под половицей в сениях.

Моторка качалась на длинной, ленивой зыби. Море не блестело. Оно было матовым, как старое стекло, и под солнцем, которое почему-то светило слишком ярко для ноября, покрывалось жирной радужной плёнкой. Чернышёв давно не видел такого моря. Раньше в это время залив уже серел от холода, по утрам у берегов стояла кромка льда, и дыхание валило паром. Сейчас можно было бы запустить руку в воду и не замёрзнуть.

Он не радовался.

Тепло — это хорошо, когда ты сидишь на берегу. Тепло — это плохо, когда ты ждёшь рыбу. Рыба не любит тёплую воду. Рыба уходит на север, в проливы, туда, где ещё есть холодные течения. Или на глубину, куда его сети не доставали.

Чернышёв нащупал буй. Был. Потянул — тяжело. Сеть не снесло.

Он начал выбирать её руками. Работа, знакомая до автоматизма: перехват, подтянуть, перехват. Из воды выходила зелёная, склизкая нить, облепленная мелкими ракушками и какой-то тиной, которую он раньше не видел. Тина была не серой, как обычно, а желтоватой, рыхлой, и от неё шёл тот самый сладковатый запах.

Первый узел с рыбой он достал через десять минут.
Пустой.

Крючки торчали из нитяных петель, чистые, блестящие.

Ни чешуи, ни наживки. Чернышёв сплюнул за борт и продолжил выбирать. Второй узел — пустой. Третий — обрыв. Сеть где-то перетёрлась о камни.

Он работал молча, сжав челюсти. Мышцы на спине натянулись, как тросы. Пот стекал по вискам, хотя было не жарко — просто душно, непривычно душно для конца ноября.

Когда он добрался до последнего узла и увидел, что и там пусто, он остановился. Вёсла стукнули о борта. Моторка замерла на волне.

Чернышёв сидел, смотрел на мокрую, скользкую кучу сети у своих ног и дышал тяжело, как после драки. Сорок пять килограмм. Ему нужны были сорок пять килограмм, чтобы дотянуть до конца месяца. А здесь — ни одной рыбины. Ни одной.

Он поднял глаза к горизонту. Мерное, жирное, тёплое море. Ни одного чайки. Раньше чайки шли за ним стаяй, кричали, ждали объедков. Сейчас — пусто. Как будто птицы знали что-то, чего не знал он.

Михалычу повезло, подумал Чернышёв. Умер в девяносто восьмом. Когда море ещё пахло морем.

Михалыч — напарник, с которым он ходил первые пять лет после армии. Дед в третьем поколении, знал залив как свои пять пальцев. Умер от рака желудка за три месяца, не дождался весны. Чернышёв тогда думал: дурак, надо было раньше к врачам идти. Сейчас он думал: может, и хорошо, что не дождался. Не видит, во что превратился залив.

Он взялся за вёсла и погреб на отмель.

Нужно было проверить вторую сеть. Она стояла дальше, у песчаной косы, где всегда ловило лучше. Если и там пусто — он не знал, что будет делать. Пойдёт в район, в контору, будет просить аванс. А это значит — смотреть в глаза секретарше, которая знает, что он должен за соляру, и слушать, как заведующий говорит про «трудности сезона».

Коса показалась из тумана минут через двадцать. Низкая, песчаная, пологая. Раньше она была длиннее — шторма подмыли южный конец. Теперь она торчала из воды как обломок чего-то более большого.

Чернышёв направил моторку к ней, уже высматривая буй второй сети. И увидел на песке пятно.

Белое.

Он прищурился. Отмель была пустынной — ни людей, ни птиц. Только это белое пятно у самой кромки воды. Слишком маленькое, чтобы быть мешком с мусором. Слишком правильной формы, чтобы быть пеной.

Чернышёв перестал грести. Моторка скользнула по инерции к косе, и он увидел.

Это был бельбók.

Сцена обрывается в момент узнавания. Следующая сцена — приближение, осмотр, судорога.

Грязный снег

Моторка ткнулась носом в песок. Чернышёв шагнул за борт, невольно плюхнувшись по щиколотку в ледяную воду у края — здесь, в тени косы, вода ещё держала холод. Он вытащил лодку поглубже на отмель, привязал кормовой конец за торчавший из песка обломок свайки и только тогда посмотрел на белька.

Издалека — да, снег. Белый, пушистый комок, который кто-то случайно обронил на песок. Серые тюлени рождали на этой косе каждый год. Чернышёв помнил — ещё мальцом ходил сюда с отцом, и отец показывал ему эти белые шубки. Тогда их было много. Целый выводок, штук пять-шесть, разбросанных по песку, как комья ваты. Самки лежали рядом, лениво шурились на солнце, и если подойти слишком близко — рычали, скалили клыки, показывая, что это их снег и трогать его не надо.

Сейчас самки не было.

Белёк лежал в десятке метров от кромки воды, на сухом песке. Он не шевелился. Чернышёв пошёл к нему, решив проверить по пути вторую сеть — буй на месте, значит, не снесло, можно будет заняться потом.

Когда он подошёл метров на пять, «снег» перестал быть снегом.

Мех был белым только на первый взгляд. Вблизи он оказался грязным — не песком, не мазутом, не тиной. Грязь была какая-то внутренняя. Шерсть сбилась в жесткие, мокрые сосульки, пожелтевшие у корней. На боках и животе проступали тёмные пятна, словно кто-то брызнул на белую ткань старым машинным маслом. Живот втянут так, что рёбра проступали сквозь шкуру, как рёбра старой лодки сквозь обшивку.

Маленький. Меньше, чем он помнил. Размером с крупного кота. Голова непропорционально большая, круглые тёмные глаза приоткрыты. Глаза были мутные, как у слепого.

Чернышёв остановился и посмотрел вниз.

Ничего. Обычное дело. Шторм выбросил. Самка испугалась, убежала в воду, детёныш остался. Или сама умерла — в это время года они слабые после родов. Бывает. Каждый год после осенних штормов на берегу находят по два-три трупика. Ничего необычного.

Он развернулся, чтобы идти к сети.

И белько́к дёрнулся.

Не дрожь. Не вздрагивание. Тело детёныша выгнулось дугой — спиной к песку, животом вверх — так сильно, что он поднялся над землёй, опираясь только на затылок и крестец. Лапы раскинулись в стороны, пальцы растопырились, и Чернышёв увидел когти — крошечные, прозрачные, как у котёнка.

Дуга держалась секунды три. Потом тело рухнуло обрат-

но на песок. Мелкая, вибрирующая дрожь прошла по шкуре. Глаза — те самые мутные глаза — распахнулись шире, и зрачки закатились под верхние веки так, что остались одни белки.

Пена.

Из приоткрытого рта потянулась тонкая ниточка пены. Не слюна — именно пена, белая, с розовыми прожилками. Она пузырилась на ноздрях, на губах, стекала на песок.

Чернышёв стоял и смотрел.

Он видел, как тюлени умирают. Видел, как браконьеры бьют их по голове багром. Видел, как они задыхаются в сетях, запутавшись задними лапами. Видел мёртвых — жёстких, холодных, с закрытыми глазами. Это было понятно. Это имело форму и причину.

То, что происходило перед ним сейчас, не имело ни того, ни другого.

Второй припадок ударил через несколько секунд. Сильнее первого. Тело снова выгнулось дугой, но теперь к этому добавилось движение челюстей — белькóк сжимал и разжимал рот, как рыба, выброшенная на лёд. Передние лапы начали молотить по песку — не в такт, не ритмично, а хаотично, как сломанные маятники. Когти царапали песок, оставляя неглубокие борозды.

Звук. Чернышёв не ожидал звука. Он думал, детёныши не умеют кричать. Но этот кричал. Не громко — тонко, пронзительно, как свист пустой консервной банки на ветру. Этот

звук пробирал до зубов.

Чернышёв почувствовал, как у него под ложечкой стало холодно. Не от страха — он не боялся тюленей с тех пор, как ему было двенадцать. Это было другое. Тошнота. Физическая, тяжёлая тошнота от того, что он видел. От того, что маленькое белое тело корчилось на песке, как будто кто-то внутри него замкнул провода.

Один меньше, подумал он. И сразу понял, что это не помогает. То, что он видел, не укладывалось в «один меньше». «Один меньше» — это пуля в голову, тихое опускание на дно. А это — это было что-то другое.

Третий припадок. Бельбёк перевернулся на бок, и Чернышёв увидел его живот — втянутый до предела, обтянутый кожей, как барабан. Пена шла уже не ниточкой, а потёками, смешиваясь с песком в грязную розовую кашу. Судороги стали чаще — тело дёргалось непрерывно, мелкой, дрожащей вибрацией, как телефон на столе.

Чернышёв сделал шаг назад.

Потом ещё один.

Потом остановился и выругался вслух. Тихо, сквозь зубы. Какую-то бессвязную мерзость, которая не имела отношения ни к тюленю, ни к морю, ни к пустым сетям. Просто потому что ему нужно было сказать что-то, чтобы перебить этот свист.

Он смотрел на белую, сбившуюся в сосульки шерсть. На «снег», который был грязным не снаружи, а изнутри. И вдруг

подумал: *я не могу так стоять*. Не потому что жалко. А потому что если он будет ещё хоть минуту смотреть, как это тело корчится на песке, он сойдёт с ума. Не фигурально. По-настоящему.

Он стянул с себя куртку — старую, выцветшую до грязно-серого цвета, пропахшую дизелем, рыбой и его собственным потом. Куртка упала на белька, накрыла его, как саван. Судороги продолжались под тканью — ткань вздрагивала, дрожала, но свист перестал быть слышным. Куртка приглушила и его, и запах пены, и вид мутных, закатившихся глаз.

Чернышёв стоял над этим серым комком на песке и дышал ртом.

Потом наклонился, не касаясь куртки руками, взял её за край и потащил к лодке. Белькóк под тканью был лёгкий — килограммов семь, не больше. Как мешок с картошкой. Как ничего.

Он положил его на дно моторки, на мокрые доски, и завернул куртку плотнее, чтобы не смотрело.

Зачем он это делает? Он не знал. Нести в район, в контору? Они пошлют его подальше. Нести домой — и что? Вылечить? Он не знал, как лечить тюленей. Выбросить обратно в воду — но тогда зачем тянул?

Он не знал. Он просто не мог оставить это на песке.

Вторую сеть он не проверил. Буй торчал из воды красной точкой, сети, может, были полны рыбы. Чернышёв не посмотрел. Он оттолкнул моторку от косы, сел на весла и

начал грести к берегу.

Куртка на дне лодки не шевелилась. Белькóк либо умер, либо потерял сознание между припадками. Чернышёв не проверял. Он греб и смотрел прямо перед собой, на жирную, спокойную воду, которая пахла бродящим вареньем.

Кому я его понесу?— думал он. И не находил ответа.

Сцена обрывается. Следующая — прибытие в реабилитационный центр, встреча с Корневой.

Хлорка против тины

Центр стоял на окраине посёлка, в здании бывшего рыбо-ловецкого приёмного пункта. Два этажа из серых бетонных блоков, покосившаяся лестница с крыльца, надпись над дверью — «ФГБУ «Природа Балтики» — краской, которая отслаивалась так, что буквы читались с трудом. Раньше здесь брали рыбу, взвешивали, платили наличными. Теперь — лечили тех, от кого эта рыба пропадала.

Чернышёв знал это место. Проезжал мимо сотни раз. Каждый раз думал одно и то же: деньги на ветер. Содержать штат, платить за электричество, за бензин для катера — ради чего? Ради того, чтобы выпустить в море двух-трёх тюленей, которые через месяц попадут в чьи-то сети и сдохнут? Или чтобы какой-нибудь московский студент мог написать дипломную работу про «влияние антропогенного фактора на ластоногих»?

Он привязал моторку к ржавой тумбе у причала. Посмотрел на куртку на дне лодки. Не шевелилась. Он не проверял, дышит или нет, с тех пор как отошёл от косы. Просто грёб и не думал. Теперь думать приходилось, и ему это не нравилось.

Он поднял куртку. Тяжёлая, мокрая, воняет его потом и дизелем. Под ней — тоже мокрое, безвольное тело. Он свер-

нул куртку поплотнее, как свёрток, и пошёл по лестнице.

На двери — табличка: «Вход по звонку». Кнопка не работала. Он пнул дверь ногой. Деревянная, толщиной в два пальца, она приоткрылась.

Внутри пахло не морем. Хлоркой. Медицинским спиртом. Чем-то ещё, сладковатым и резким, от чего защипало в носу. Пол — белый кафель, чистый, вымытый до скрипа. Чернышёв посмотрел на свои сапоги — на подошвах песок, тина, рыба слизь. Он стоял в дверях и не хотел заходить.

— Да? — голос из коридора.

Она появилась через секунду. Высокая, худая, в синем синтетическом комбинезоне, который блестел, как обёртка от конфеты. На ногах — белые резиновые сапоги, чистые, без единого пятна. Волосы собраны в тугую тёмную косу на затылке. Лицо бледное, без макияжа, с тёмными кругами под глазами, которые казались ещё темнее на фоне этой бледности.

Марина Корнева. Он не знал её имени, но видел её раз — прошлой весной на рынке, когда она что-то собирала подписи у ларька с рыбой. Он прошёл мимо и не подписал.

Она посмотрела на него. Потом на свёрток в его руках.

— Что там?

— Тюлень. Бельбók. На косе подобрал.

Он сказал это коротко, грубо, как докладывал бы в диспетчерскую: мол, так и так, обнаружил, доставил, ваш ход. Он ждал, что она бросится к свёртку, развернёт, начнёт ахать.

Так обычно ведут себя эти бабы из зелёных — им плевать, что ты три часа грёб против ветра, им надо сразу показать, какие они добрые.

Корнева не ахнула. Она сделала шаг к нему и протянула руки.

— Давайте сюда.

Он отдал свёрток. Её пальцы — сухие, тонкие, без колец — коснулись мокрой куртки, и он заметил, как она чуть поморщилась. Не от отвращения — от холода. Мокрая куртка была ледяной.

Она понесла свёрток внутрь, и он пошёл за ней. Сапоги скрипели по кафелю, оставляя мокрые следы. Ему снова стало неприятно — он чувствовал себя медведем, который залез в операционную.

Корнева внесла свёрток в комнату с металлическим столом посередине. Стол был покрыт линолеумом, свежим, чистым. Над столом — лампа с длинным рукавом, как в стоматологии. На стене — шкафы с стеклянными дверцами, за которыми стояли банки, пробирки, какие-то приборы. И ни одной картинки с тюленями на стенах. Ни одной «спаси природу» наклейки. Только функциональность.

Она положила свёрток на стол и развернула куртку.

Бельбóк лежал на спине. Мокрая шерсть прилипла к телу, обнажая рёбра. Глаза были закрыты. Тело не дрожало. Он мог быть мёртвым — Чернышёв не проверял.

Корнева не тронула его. Она наклонилась, присмотрелась

к морде. Потом к груди — проверила дыхание. Потом взяла из ящика стола маленький фонарик, оттянула веко и посветила в глаз.

Две секунды. Она выпрямилась.

— Когда нашли?

— Часа полтора назад. Может, два.

— Судороги были?

Чернышёв моргнул.

— Были, — сказал он. — Какой-то... припадок. Тело дугой выгибается. Пена изо рта.

Корнева кивнула. Так, как врач кивает, когда пациент называет знакомый симптом. Без удивления.

— Сколько припадков?

— Три. Или четыре. Я не считал.

Она повернулась к шкафу, открыла его, достала коробку с латексными перчатками. Растянула первую, надела на правую руку. Щелчок. Вторая — на левую. Щелчок. Чернышёв вздрогнул от этого звука — резкий, как выстрел, в тишине комнаты.

Она подошла к столу и положила ладони на тело белька. Пальцы шли по шкуре — проверяли пульс, температуру, тонус мышц. Движения были быстрыми, точными, как у человека, который делает это каждый день и уже не думает о том, что трогает живое существо.

— Гипотермия есть, — сказала она, не поднимая головы.

— Шерсть мокрая, температура низкая. Но это не причина.

— Что — не причина?

— Припадков. Чернышёв посмотрел на неё. Она была сосредоточена на бельке, лицо близко к его морде, глаза прищурены. Лампа над столом освещала её затылок, тёмную косу, белый воротник комбинезона. Она выглядела не как спасательница животных. Она выглядела как патологоанатом.

— От холода не бывает эпилептического статуса, — сказала она ровно. — От холода они дрожат, впадают в кому, умирают от остановки сердца. Судороги — это другое. Это нервная система.

Она выпрямилась и посмотрела на него. Глаза у неё были серые, светлые, с тёмным ободком вокруг радужки. Уставшие глаза. Глаза человека, который не спит нормально давно.

— Зачем вы его принесли? — спросила она.

Вопрос был задан ровно, без вызова, без упрёка. Просто констатация. И от этого было хуже, чем если бы она прикрикнула. Чернышёв почувствовал, как внутри поднимается то, что он прятал всё время, пока грёб к берегу. Раздражение. Злость. На себя — за то, что полез за этим бельком. На неё — за то, что она стоит здесь в чистом комбинезоне и задаёт глупые вопросы.

— Не знаю, — сказал он. — Может, хотел, чтобы вы его полечили. Вы же тут для этого.

Он сказал «для этого» так, что слово прозвучало как «для чего-то бесполезного».

Корнева не отреагировала. Она сняла перчатки — щелчок, щелчок — и бросила их в пластиковое ведро у стола.

— Я его не вылечу, — сказала она. — Если это то, что я думаю, он уже мёртв. Просто его тело ещё не поняло этого.

Чернышёв открыл рот и закрыл. Он ждал, что она скажет «мы попробуем», «шанс есть», «сделаем всё, что можем». Вместо этого она сказала «он уже мёртв». И сказала это так, как говорят «сейчас четыре часа» — просто, сухо, без эмоций.

— Тогда зачем вы тут сидите? — услышал он свой собственный голос. Жёсткий, грубый. — Зачем этот центр? Зачем зарплата, электричество, солярка на катер? Если вы и так знаете, что они сдохнут?

Он не собирался это говорить. Слова вылезли сами, как гной из нарыва. Всё, что он думал про этот центр все эти годы, — про впустую потраченные деньги, про московских студентов, про бесполезность — всё это хлынуло наружу.

Корнева стояла напротив него. Между ними — мокрая куртка Чернышёва на металлическом столе, а в куртке — маленькое белое тело, которое уже мертво, но ещё не знает об этом.

Она не подняла голос.

— Я тут сижу, — сказала она медленно, — потому что трижды в год пишу рапорт в районное управление. Каждое расследование — с анализами, с цифрами, с диагнозами. Знаете, что мне отвечают?

Она подошла к столу, открыла нижний ящик, достала папку. Толстую, потрёпанную, с замками, которые не застёгивались. Открыла её, перелистала несколько страниц.

— «Временное отклонение гидрологического режима, не влияющее на общий запас промысловых видов». Вот. Это из прошлого года. И вот — позапрошлого. Одно и то же. Слово в слово.

Она захлопнула папку.

— Я тут сижу, Чернышёв, не для того, чтобы лечить. Я тут сижу, чтобы знать, от чего они умирают. Потому что если я не буду знать — никто не узнает. И через десять лет вы придёте сюда и скажете: «А где тюлени? Куда они делись?» И никто вам не ответит.

Она посмотрела на него. Он молчал. Не потому что был впечатлён — потому что не ожидал такого. Он ждал слёз, истерики, упрёков. А получил холодную, точную фразу, как удар по голове.

— Я не экоактивистка, — сказала она, чуть помедлив. — Я не спасаю мир. Я режу мёртвых тюленей и смотрю, что у них внутри. Это не красиво. Это не даёт денег. Но это единственное, что я умею делать.

Она повернулась к столу. Надела новые перчатки — щелчок, щелчок.

— Если хотите — оставайтесь. Посмотрите. Может, для вас это будет полезнее, чем пустые сети.

Сцена обрывается. Следующая — смерть белька на столе.

Смерть на металлическом столе

Корнева включила лампу над столом. Свет упал на белька — резкий, больничный, без тени. Под этим светом мокрая шерсть стала не белой, а желтовато-серой, как старое бельё, которое забыли в стирке. Рёбра проступали ещё отчётливее. Кожа между ними натянулась так, что казалась прозрачной.

Чернышёв стоял у стены. Он не знал, зачем остался. Ноги принесли его сюда, а куда деваться — он не соображал. Сапоги всё ещё оставляли мокрые следы на кафеле. Он видел это и не двигался.

Корнева достала из шкафчика шприц, ампулу, пузырёк с прозрачной жидкостью. Разложила на краю стола, ровно в один ряд. Пальцы в латексных перчатках работали быстро — щёлкали по стеклу, по металлу, по пластику.

— Диазепам, — сказала она, не обращая к нему. — Снимает судороги. Если это ещё не поздно.

Она взяла белька за шею — одной рукой, уверенно, как человек, который держал сотни таких шей, — и нашла вену. Игла вошла. Поршень пошёл вниз. Жидкость исчезла под кожей.

Они ждали.

Секунду. Две. Пять. Десять.

Ничего.

Тело лежало неподвижно. Грудная клетка не поднималась. Чернышёв смотрел на неё и не видел дыхания. Может, оно и было — такое слабое, что глаз не цеплялся, — но он не видел.

— Дыхание есть, — сказала Корнева. — Поверхностное.

Она отступила на шаг от стола. Скрестила руки на груди. Ждала.

Прошла минута.

Белько́к вздрогнул.

Сначала — мелко, как от холода. Потом плечи дёрнулись, лапы сжались. И тогда началось. Тело снова выгнулось дугой, но слабее, чем на косе — диазепам притупил удар. Судорога была не такой страшной, не такой яростной, но она была. Мелкая, вибрирующая дрожь перешла в ритмичные подёргивания задних лап. Пена — та же розовая пена — снова показалась в уголках рта.

Корнева стояла неподвижно. Лицо её не изменилось. Но Чернышёв заметил: она сжала руку под локтем так, что костяшки побелели под латексом. Сжала и не разжимала.

Припадок длился секунд двадцать. Тело расслабилось. Пена перестала пузыриться. Грудная клетка сделала один короткий рывок — вдох — и замерла.

Корнева шагнула к столу. Положила два пальца на грудь белька, прямо между рёбрами. Считала. Посчитала. Сняла пальцы.

Она не сказала ничего.

Прошла минута. Может, две. Чернышёв не знал — время в этой комнате с хлорным запахом двигалось неправильно.

Корнева сняла перчатки. Щелчок. Щелчок. Бросила в ведро.

— Время смерти, — она посмотрела на часы, — четырнадцать двадцать семь.

Она сказала это так, как сказала бы «температура воды — восемь градусов». Никакой интонации. Чернышёв ждал слёз, всхлипа, хотя бы глубокого вздоха. Ничего. Она повернулась к раковине, открыла кран, начала мыть руки. Вода журчала. Мыло пенилось.

Чернышёв смотрел на стол.

Бельёк лежал на спине. Глаза были закрыты. Рот приоткрыт. В уголке губ — засыхающая розовая полоска пены. Он выглядел не страшно. Он выглядел спящим. Маленький, мокрый, замёрзший комочек, который нашёл самый плохой пляж в целом заливе и родился на нём в самое плохое время.

И Чернышёв вдруг почувствовал что-то, чего не ожидал.

Не жалость. Не вину. Что-то другое. Тяжёлое, тупое, как камень в желудке. Ощущение, что он видел не просто смерть животного. Что он видел что-то, что не должен был видеть. Что-то, что было слишком большим для этого маленького тела на металлическом столе.

— Ну и что теперь? — спросил он. Голос прозвучал глухо, как из-под воды.

Корнева выключила кран. Потрясла руки над раковиной.

Взяла бумажное полотенце, вытерла пальцы. Каждое — отдельно, тщательно.

— Теперь, — сказала она, — я его вскрою.

Чернышёв моргнул.

— Вскроешь?

— Да. Нужна ткань мозга. Анализы печени. Содержимое желудка. Без этого я не смогу подтвердить диагноз.

— Какой диагноз?

Она повернулась к нему. Полотенце в её руках было мятое, мокрое. Она сжала его и посмотрела на него теми своими серыми, уставшими глазами. И Чернышёв увидел в них что-то новое. Не усталость. Не холодность. Что-то похожее на hesitation. Как будто она решала: говорить или нет.

Она решила.

— Отравление домоевой кислотой, — сказала она. — Если я права — это не единственный случай в этом сезоне. И не последний.

Чернышёв стоял и слушал. Слова были знакомые — «домоевая кислота» — он где-то слышал. Может, по телевизору. Может, в газете. Но они не складывались в смысл. Как буквы в слове на незнакомом языке.

— И что это значит? — спросил он.

Корнева положила полотенце на край раковины. Медленно. Пальцы задержались на мятой бумаге на секунду дольше, чем нужно.

— Это значит, Чернышёв, что ваш залив болен.

Она отвернулась к столу и открыла ящик с инструментами. Скальпель. Пинцеты. Ножницы. Разложила их рядом с телом белька — ровно в один ряд, как раньше ампулы.

— Если хотите смотреть — стойте тихо. Если нет — дверь открыта.

Чернышёв не двинулся.

Он смотрел, как она берёт скальпель. Как заводит лампочку поближе. Как наклоняется над белым телом. И в этот момент он заметил то, что раньше не видел: её руки дрожали. Мелко, почти незаметно. Так, что скальпель чуть качался в пальцах.

Она не была безразличной.

Она просто не могла позволить себе быть другой.

Сцена обрывается. Следующая — вскрытие и монолог Корневой о цепочке (кульминация).

K

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.